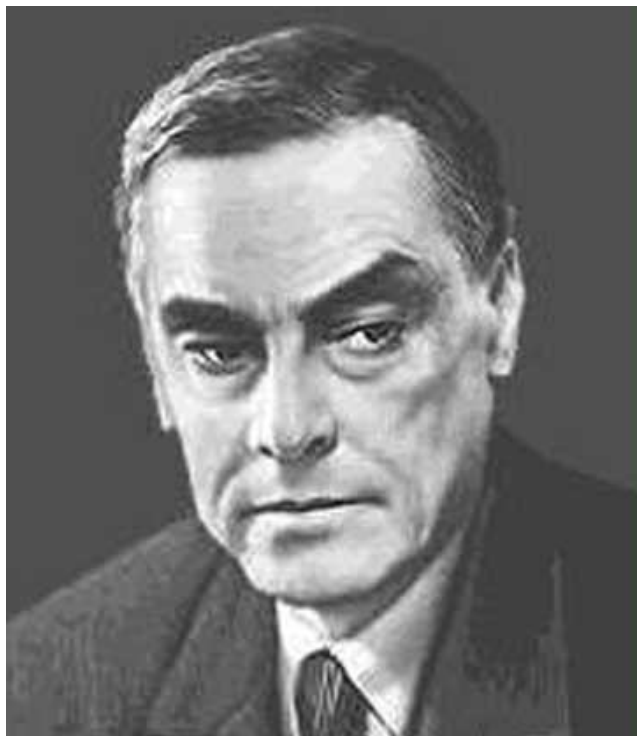


**В клубе «Только стихия, только поэзия»
26 июня 2013 года. Собрались в 417-ый раз!!!**



Темой этой встречи был Арсений Тарковский



Тарковский Арсений Александрович (25.06.1907-
27.05.1989)

День рождения этого поэта за день до нашей встречи!!!!

Виктор Мирочник прочёл о Тарковском и его стихи



Арсений Тарковский и евреи. Михаил Синельников

Коснуться этой темы придется потому, что она для самого Тарковского была важной и отношение других людей к ней часто определяло его отношение к ним... Замечено, что южно-русские люди, в отличие от северян, с детства соприкасавшиеся с евреями, либо их не выносят, либо очень любят. Сразу скажу, что Тарковский принадлежал к последним. В одно из первых моих посещений я застал Тарковского читающим знакомую мне брошюру В.В. Розанова... «Ведь он был антисемит?» – осторожно спросил я (имея, конечно, в виду прежде всего эту, читаемую в данный момент замечательную, вдохновенную и, увы, фантастическо-клеветническую книжку. Я был очень молод. И к стыду моему, воспринимал творчество великого писателя поверхностно, не ощущая глубины его многозначных суждений и не догадываясь, что чувство Розанова к евреям было пожизненной «любовью-ненавистью», может быть, «любовью-завистью», а иногда упреком, но не в еврействе, а в измене своему еврейскому призванию

в мире, и любовь в конце концов победила все наслоения...) Тарковский ответил кратко: «Ужасный!» Но через некоторое время у нас завязался разговор об антисемитизме. «Видите ли, Сологуб, Ахматова, Заболоцкий любили евреев и не терпели антисемитизма. Цветаева была яростной юдофилкой... Я – тоже. И с антисемитами не поддерживаю отношений». Так говорил Тарковский и смотрел мне в глаза. Вглядывался в меня, монголоидно-узкоглазого и тогда светловолосого, чуть опасливо. Словно бы не желая разочаровываться: а вдруг я – юдофоб? Но я устранил сомнения...

«Чудом сузилась жилетка,
Пахнет снегом и огнем,
И полна грудная клетка
Царским траурным вином».

«Портной из Львова, перелицовка и починка»

Тарковский любил читать различные справочники и говорил, что нельзя жить без двух изданий – энциклопедии Брокгауза и Ефрона и Еврейской

энциклопедии. И оба издания у него были (имелся также и словарь Гранат). Еврейскую энциклопедию Тарковский почитывал. Перелистывал также Талмуд (естественно, в переводе Переферковича; языка Тарковский не знал, это его отец Александр Карлович изучал древнееврейский с раввином, а Тарковский только запомнил с елизаветградского детства некоторые забавные еврейские словечки и выражения и посмеивался, что мне не знаком их смысл). Отзывался о вычитанном в этих трактатах с благоговейным ужасом и удивлением: «Вы подумайте, сколько свободного времени было у этих людей! Предусмотреть такие вещи!» Кроме того, Тарковский имел представление о светской еврейской литературе. Высоко ценил Бялика, знал рассказы Шолом-Алейхема, а в былые года приятельствовал с Перецем Маркишем и общался с Самуилом Галкиным. Вспоминал постановки ГОСЕТа. Любил он и еврейские анекдоты, которые изредка рассказывал с соответствующим акцентом. Хохоча, воспроизводил многочисленные изречения

легендарного цедеэльского парикмахера Маргулиса: «И я тоже имэю жену! Для звэрства!» Та же интонация понадобилась Тарковскому для того, чтобы изобразить отца поэта Семена Кирсанова. Этот старик, модный одесский портной, удивленный литературными успехами сына, если верить Тарковскому, сказал Семену Исааковичу следующее: «Сёма, я вижу в твоих стихах все, но я не вижу в них мыслей!»

(Кстати, сам Тарковский был того же мнения о стихах Кирсанова.)

Мне кажется, что у русского и православного Арсения Александровича был даже недуг, характерный для некоторых евреев: с торжеством заявлять об иудейском происхождении очень известных деятелей. И он говорил иногда престранные вещи: «Маршал Бадольо, тот, что свергнул Муссолини, ведь был такой рыжий еврей!» Или: «Я давно знаю, что Тито – еврей. Мне это сказали вскоре после войны в Славянском Комитете, сказали со злобой...» Я понимаю, что такой разговор

действительно состоялся, поскольку Тарковский был переводчиком югославского поэта-коммуниста Радуге Стийенского и накануне разрыва с «титовской кликой» в информационной беседе могло прозвучать и такое обвинение, но ведь это – вздор, просто Тито не был антисемитом, и это также не нравилось Сталину... Как-то, перечитывая Монтеня, Тарковский воскликнул: «Да ведь Монтень – еврей! Это же – дядя Моня из Жмеринки! Ну взгляните на портрет!» Я в ужасе жался, обороняясь руками. Позже, однако, узнал, что и в самом деле великий француз был выходцем из крещеных сефардов (во всяком случае, по материнской линии). Зная стихи Владислава Ходасевича, я как-то не слишком интересовался его родословием. Тарковский, для которого этот поэт постепенно становился самым необходимым автором, известил меня о полуюеврейском происхождении Владислава Фелициановича. Я почему-то отбивался: «Арсений Александрович, Г-сподь с вами, о чем вы говорите, ведь он – великий русский поэт!» Здесь Тарковский

заклучил и шутливо и строго: «Миша, вы – антисемит!» Мне кажется, в его глазах еврейство, если бы и нуждалось в оправдании, было оправдано уже одним именем – Осипа Мандельштама, которого Тарковский боготворил и в юности, и в зрелые годы. Конечно, Мандельштам из русских поэтов столетия был главным учителем Тарковского. И все-таки важнее даже самой поэзии и всей мировой литературы была для Тарковского Библия, которую чтимый им с самых ранних лет Григорий Сковорода называл «Книгой Мира». Библию (и «Симфонию» к ней) Тарковский читал постоянно, может быть, каждодневно, и, предполагаю, что всю жизнь. Он принадлежал к тем православным христианам, для которых особенно очевидна неразрывная связь двух Заветов. Оба изучались с одинаковым вниманием. Его волновали образы библейских пророков, патриархов, героев и героинь Библии. А между тем, среди живых евреев, его знакомых, попадались люди разного сорта и пошиба. Наряду с чистыми людьми появлялись мелкие людишки, обыгрывавшие

его в карты и невозмутимо уносявшие выигрыш. Наряду с одаренными приходили нудные графоманы, требовавшие протекции. Я считал, что любовь Тарковского к данной национальности не должна была быть слепой. Ведь он и по жизни и по романам Достоевского знал, что среди евреев встречаются гнусные типы, что существуют и ростовщики и биржевики. И, конечно, ему были антипатичны многие первобольшевики, вышедшие из еврейства. Но Тарковский в таких случаях не упирал на национальное происхождение и, пожалуй, даже сожалел о нем. Для него евреи были прежде всего Народом Книги. То есть той книги, которая в церкви лежала на аналое, а у него – на рабочем столе и ночном столике. В поэзии он любил библеизмы (естественно, славянские), а также библейские имена и сюжеты. Поэтому его тронули даже какие-то посредственные стихи Григория Корина о том, как сын моет ноги больному отцу. Тарковскому нравился сам сюжет, в самой ситуации чудилось нечто упоительно-библейское, говорящее о древней

культуре милосердия, сострадания, заботы о ближних. Перечитаем собственные стихи Тарковского, многие из них вдохновлены и насыщены библейскими образами. И это так естественно для русской поэзии, пронизанной ими с ее начала. Во все катастрофичные для России эпохи трагизм случившегося передавался отечественными поэтами посредством этих вечных образов. И Тарковский тоже знал, что русскому поэту ни в коем случае нельзя разрывать связи с Писанием. И вот что вспомнилось в полевом госпитале, где Тарковский лежал в 1943 году на смутной грани умирания:

«Мне губы обметало. И еще меня поили с ложки, И еще не мог я вспомнить, как меня зовут. Но ожил у меня на языке Словарь царя Давида».

В стихах 1946 года, посвященных Марине Цветаевой, поразительно сказано не только о ее гибели, но и о гибели и попрании страны... И каким языком сказано! «Я слышу, я не сплю, зовешь меня, Марина, Поешь, Марина, мне, крылом

грозишь, Марина, Как трубы ангелов над городом
поют, И только горечью своей неисцелимой, Наш
хлеб отравленный возьмешь на Страшный суд, Как
брали прах родной у стен Иерусалима Изгнанники,
когда псалмы слагал Давид И враг свои шатры
раскинул на Сионе...» Но кроме высокой
библейской поэзии и высокой риторики были еще
стихи, переполненные самыми будничными
обстоятельствами и реалиями нагрянувшей войны и
эвакуационной неразберихи. Произнесенные с
характерной бытовой интонацией и проникнутые
состраданием, щемящей жалостью к бесприютному и
одинокому еврейскому беженцу:
«С чемоданчиком картонным,
Ластоногий в котелке,
По каким-то там перронам,
С гнутой тросточкой в руке.
Сумасшедший, безответный,
Бедный житель городской,
Одержимый безбилетной
Неприкаянной тоской».

Этот неожиданный ритм возник в глухомани «над
стылой Камой», где все дышит стужей и военным
поражением и предвещает голод и гибель. Низок и
безнадежен быт, интонация все понижается,
приземляясь, и вдруг преодолевается высоким
всплеском: «Привкус меди, смерти, тлена У него на
языке, Будто царь Давид из плена К небесам воззвал
в тоске». Стихотворение, датированное 1947 годом и
столь сочувственное к евреям, чудом выжившим и
вновь ощутившим веянье гонения, вызвало
благодарный отклик. Фальк за эти стихи подарил
Тарковскому свою картину. Нехорошо, что
стихотворение «Портной из Львова, перелицовка и
починка» в худлитовской редакции было напечатано
с нелепым искажением:

«Будто царь царей из плена
К небесам воззвал в тоске».

Я понимаю, что наспех сделанная замена царя
Давида каким-то несусветным персидским «царем
царей» была продиктована страхом перед цензурой.
Предполагаю, что это был личный страх и личная

инициатива Татьяны Алексеевны, но страх пустой и напрасный. В стихах Тарковского и без того достаточно отсылок к Библии, библейских имен. Даже тот же царь Давид встречается и в других стихотворениях. Видимо, была попытка обуздать пристрастие и чуть убавить это преступное в глазах цензоров и надсмотрщиков библеическое изобилие. Но такие уродующие поправки (названная – не единственная) делались для выходявшего в советское время однотомника. А в 1991 году в них уже не было надобности, и в трехтомник такие несуразности перетекли механически, по небрежности.

Старший брат Тарковского, юный революционер, идейный анархист, погиб, руководя вместе с младшим братом Г.Е. Зиновьева, тоже анархистом, группой единомышленников, оборонявших елизаветградский вокзал от банд Григорьева, который, конечно, намеревался, захватив город, произвести еврейский погром. Тарковский всю жизнь горевал о гибели брата (подкосившей родителей), в

стихах вновь и вновь возвращался к его судьбе, но вместе с тем гордился подвигом Валерия. Гордился и родным Елизаветградом, из которого вышло так много артистов, музыкантов, художников и, по утверждению Тарковского, чуть ли не двести профессиональных литераторов. Большинство, разумеется, еврейского происхождения. В доме Тарковских с уважением говорили о русских людях, которые во время борьбы с «космополитизмом» отважно, рискуя головой, пытались защищать евреев. Например, об известном журналисте Ю.А. Тимофееве... Но прошли годы и десятилетия, а государственный антисемитизм все не шел на убыль... В доме появился польский католический журналист, вероятно, заинтересовавшийся историей семьи Тарковских, семейным преданием о Пилсудском, а заодно и поэзией Тарковского. Однажды завязался разговор о польском антисемитизме, затеянный Борисом Альтшулером, мужем Ларисы Миллер, физиком, учеником Сахарова. Поляк говорил осторожно, утверждал, что

антисемитизм идет в Польшу из России. Выслушано это было с изрядной долей сомнения. Хотя понятно, что Москва могла только поощрить традиционную юдофобию в так называемых народных демократиях. Тарковский интересовался израильской жизнью и как религиозный человек, помышляющий о Святой Земле, и как друг нескольких писателей еврейского происхождения, избравших «историческую родину» и уехавших. Итоги «Шестидневной войны» доставили ему большое удовольствие. Более того, Тарковский приговаривал: «Хоть бы еще там дали израильтяне по арабам!» До того мерзок ему казался Герой Советского Союза Гамаль Абдель Насер, но главное, удар по нему был и ударом по репутации кремлевских товарищей. Правда, позже Тарковский потускнел: «Вцепился Израиль в свои Голаны и больше ничего не видит!» И стало ясно, что искренне симпатизирующий Израилю Тарковский озабочен все-таки более всеобщими, всечеловеческими проблемами. Очевидно, вызывал его уныние непрекращающийся планетарный натиск

воинствующего коммунизма. Все же не хотелось думать, что умирать придется при том же режиме, в той же наглухо заверченной и задохшейся консервной банке. Наступило время публичных дискуссий о традициях и современности. Дряхлеющая партия, изверившаяся в собственной идеологии и утратившая даже ветшающую фразеологию, предоставила трибуну своему заботливо возвращенному черносотенному союзнику и возможному наследнику. В ходе этих «дискуссий» с заранее подготовленной аудиторией имевшие неосторожность вовлечься в эти прения «западники», либералы наслушались оскорблений и от «патриотических» ораторов и от публики. Иным предлагали как нерусским уйти из русской культуры. Эфросу – создать «свой» театр... В этой-то обстановке выдвинулся всеохватный прозаик Дмитрий Жуков, писавший сегодня книгу о письменах майя, а завтра – о протопопе Аввакуме (с чьим творчеством по сему случаю ему надо было срочно ознакомиться). В сущности, он не являлся ни

лингвистом, ни историком, а был лишь засветившимся на Западе нашим разведчиком, искавшим себе новое поприще и решившим заняться пока словесностью и общественной деятельностью. Имел успех у «молодогвардейцев». И на одном собрании будущих «заединщиков» живописец Илья Глазунов даже совершил символическую акцию – зачем-то вручил Дмитрию Жукову посмертную маску Ф.М. Достоевского. Вероятно, предполагалась преемственность. Жуков как бы уже объявлялся «великим писателем русской земли». И вот такой человек еще не был членом Союза советских писателей! Вступить он решил как переводчик с английского и переводные свои труды отдал в приемную комиссию. Рецензентом была назначена Татьяна Алексеевна, которая никакого понятия о Дмитрие Жукове не имела, но решительно отвергла его продукцию как недоброкачественную и непрофессиональную. Это вызвало взрыв злобы. К Тарковскому в ЦДЛ подбежал какой-то верзила с руками-кувалдами и яростно загомонил: «Так вот

как... Мы думали, что вы – великий русский поэт, а вы – синагогальный служака!» Бедный Тарковский только хлопал глазами и озирался, не понимая, кто это и чего от него хочет. Никогда он не видел таких жутких людей и не желал бы видеть! А был это Дмитрий Жуков, предполагавший, конечно, что ничего не делается спроста, что Тарковские (ну, разумеется, «муж и жена – одна сатана»!) знают, что делают, что они – его идейные ненавистники и проявившие себя жидомасоны. А в Союз писателей Жуков естественно ступил, легко перешагнув через препоны и преграды. Очевидно, и в самом деле в «патриотическом» кругу решили пересмотреть отношение к Тарковскому, ранее изучающе-благоприятное. Он ведь вполне мог бы пригодиться на роль «хранителя священного огня» классики. Но теперь в статье Вадима Кожинова был объявлен эпигоном модернизма. Тарковский, обычно презиравший всяческую газетно-журнальную полемику, всю кухню советской критики, кажется, на сей раз был задет. Хотя допускаю, что громкое на

собраниях и сходках имя Кожинова услышал только в связи с этой изничтожающей статьей. В те дни в одном застолье он с улыбкой оглядел меня и почему-то сказал, обращаясь к присутствующим: «Вот – Миша! Он никогда не станет каким-нибудь Кожиновым!»

Итоги «Шестидневной войны» доставили ему большое удовольствие. Более того, Тарковский приговаривал:

«Хоть бы еще там дали израильтяне по арабам!»
...Однажды, придя в гости к Тарковским, я увидел веселую темноволосую темноглазую девочку, немного похожую на ту печальную, которую в потоке сыплющихся самоцветов любил рисовать Врубель, – на дочь еврейского ювелира. «Моя внучка!» – сказал Арсений Александрович. Это была дочь Марины Арсеньевны Тарковской и ее мужа Александра Витальевича Гордона, кинорежиссера, друга Андрея Арсеньевича.

* * *

Тот жил и умер, та жила
И умерла, и эти жили
И умерли; к одной могиле
Другая плотно прилегла.
Земля прозрачнее стекла,
И видно в ней, кого убили
И кто убил: на мертвой пыли
Горит печать добра и зла.
Поверх земли метутся тени
Сошедших в землю поколений;
Им не уйти бы никуда
Из наших рук от самосуда,
Когда б такого же суда
Не ждали мы невесть откуда.

1975

* * *

Позднее наследство,
Призрак, звук пустой,
Ложный слепок детства,
Бедный город мой.
Тяготит мне плечи
Бремя стольких лет.
Смысла в этой встрече
На поверку нет.
Здесь теперь другое
Небо за окном -
Дымно-голубое,
С белым голубком.
Резко, слишком резко,
Издали видна,
Рдеет занавеска
В прорези окна,
И, не уставая,
Смотрит мне вослед
Маска восковая
Стародавних лет.

* * *

Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала, как флейта, звучать.
Я ловил соответствие звука и цвета,
И когда запевала свой гимн стрекоза,
Меж зеленых ладов проходя, как комета,
Я-то знал, что любая росинка - слеза.
Знал, что в каждой фасетке огромного ока,
В каждой радуге яркострекочущих крыл
Обитает горящее слово пророка,
И Адамову тайну я чудом открыл.
Я любил свой мучительный труд, эту кладку
Слов, скрепленных их собственным светом, загадку
Смутных чувств и простую разгадку ума,
В слове п р а в д а мне виделась правда сама,
Был язык мой правдив, как спектральный анализ,
А слова у меня под ногами валялись.
И еще я скажу: собеседник мой прав,
В четверть шума я слышал, в полсвета я видел,
Но зато не унизив ни близких, ни трав,

Равнодушием отчей земли не обидел,
И пока на земле я работал, приняв
Дар студеной воды и пахучего хлеба,
Надо мною стояло бездонное небо,
Звезды падали мне на рукав.

* * *

Немецкий автоматчик подстрелит на дороге,
Осколком ли фугаски перешибут мне ноги,
В живот ли пулю влепит эсесовец-мальчишка,
Но все равно мне будет на этом фронте крышка.
И буду я разутый, без имени и славы
Замерзшими глазами смотреть на снег кровавый.

* * *

И я ниоткуда
Пришел расколоть
Единое чудо
На душу и плоть,
Державу природы
Я должен рассечь

На песню и воды,
На сушу и речь
И, хлеба земного
Отведав, прийти
В свечении слова
К началу пути.
Я сын твой, отрада
Твоя, Авраам,
И жертвы не надо
Моим временам,
А сколько мне в чаше
Обид и труда...
И после сладчайшей
Из час - никуда?

23 июня день рождения Анны Ахматовой



Виктор Мирочник прочёл автобиографию Ахматовой:
Я родилась 23 июня 1889 года под Одессой
(Большой Фонтан). Мой отец был в то время
отставной инженер-механик флота. Годовалым

ребенком я была перевезена на север - в Царское Село. Там я прожила до шестнадцати лет. Мои первые воспоминания - царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в "Царскосельскую оду". Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет - древний Херсонес, около которого мы жили. Читать я училась по азбуке Льва Толстого. В пять лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, я тоже научилась говорить по-французски. Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет. Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина ("На рождение порфирородного отрока") и Некрасова ("Мороз, Красный нос"). Эти вещи знала наизусть моя мама. Училась я в Царскосельской женской гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше, но

всегда неохотно. В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, тосковала по Царскому Селу и писала великое множество беспомощных стихов. Отзвуки революции Пятого года глухо доходили до отрезанной от мира Евпатории. Последний класс проходила в Киеве, в Вуундуклеевской гимназии, которую и окончила в 1907 году. Я поступила на юридический факультет Высших женских курсов в Киеве. Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, я была довольна, когда же пошли чисто юридические предметы, я к курсам охладела. В 1910 (25 апреля ст. ст.) я вышла замуж за Н. С. Гумилева, и мы поехали на месяц в Париж. Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдиссона, показал мне в "Taverne de Panteon" два стола и сказал: "А это ваши социал-демократы, тут - большевики, а там -

меньшевики". Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-cullottes), то почти пеленали ноги (jupes-entravees). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию. Переехав в Петербург, я училась на Высших историко-литературных курсах Раева. В это время я уже писала стихи, вошедшие потом в мою первую книгу. Когда мне показали корректуру "Кипарисового ларца" Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете. В 1910 году явно обозначился кризис символизма, и начинающие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм, другие - в акмеизм. Вместе с моими товарищами по Первому Цеху поэтов - Мандельштамом, Зенкевичем, Нарбутом - я сделалась акмеисткой. Весну 1911 года я провела в Париже, где была свидетельницей первых триумфов русского балета. В 1912 году проехала по Северной Италии (Генуя, Пиза,

Флоренция, Болонья, Падуя, Венеция). Впечатление от итальянской живописи и архитектуры было огромно: оно похоже на сновидение, которое помнишь всю жизнь. В 1912 году вышел мой первый сборник стихов "Вечер". Напечатано было всего триста экземпляров. Критика отнеслась к нему благосклонно. 1 октября 1912 года родился мой единственный сын Лев. В марте 1914 года вышла вторая книга - "Четки". Жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая Петербургский сезон начал замирать, все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из XIX века сразу попали в XX, все стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. Время распорядилось иначе. Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии, в пятнадцати верстах от Бежецка. Это не живописное место: распаханное ровными квадратами на холмистой местности поля,

мельницы, трясины, осушенные болота, "воротца", хлеба, хлеба... Там я написала очень многие стихи "Четок" и "Белой стаи". "Белая стая" вышла в сентябре 1917 года. К этой книге читатели и критика несправедливы. Почему-то считается, что она имела меньше успеха, чем "Четки". Этот сборник появился при еще более грозных обстоятельствах. Транспорт замирал - книгу нельзя было послать даже в Москву, она вся разошлась в Петрограде. Журналы закрывались, газеты тоже. Поэтому в отличие от "Четок" у "Белой стаи" не было шумной прессы. Голод и разруха росли с каждым днем. Как ни странно, ныне все эти обстоятельства не учитываются. После Октябрьской революции я работала в библиотеке Агрономического института. В 1921 году вышел сборник моих стихов "Подорожник", в 1922 году - книга "Anno Domini". Примерно с середины 20-х годов я начала очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина. Результатом моих

пушкинских штудий были три работы - о "Золотом петушке", об "Адольфе" Бенжамена Сонстана и о "Каменном госте". Все они в свое время были напечатаны. Работы "Александрина", "Пушкин и Невское взморье", "Пушкин в 1828 году", которыми я занимаюсь почти двадцать последних лет, по-видимому, войдут в книгу "Гибель Пушкина". С середины 20-х годов мои новые стихи почти перестали печатать, а старые - перепечатывать. Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде. В конце сентября, уже во время блокады, я вылетела на самолете в Москву. До мая 1944 года я жила в Ташкенте, жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте. Как и другие поэты, часто выступала в госпиталях, читала стихи раненым бойцам. В Ташкенте я впервые узнала, что такое в палящий жар древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта: в Ташкенте я много и тяжело болела. В мае 1944 года я прилетела в весеннюю Москву, уже полную радостных надежд и ожидания близкой победы. В

июне вернулась в Ленинград. Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я описала эту мою с ним встречу в прозе. Тогда же возникли очерки "Три сирени" и "В гостях у смерти" - последнее о чтении стихов на фронте в Териоках. Проза всегда казалась мне и тайной и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи - я никогда ничего не знала о прозе. Первый мой опыт все очень хвалили, но я, конечно, не верила. Позвала Зощенку. Он велел кое-что убрать и сказал, что с остальным согласен. Я была рада. Потом, после ареста сына, сожгла вместе со всем архивом. Меня давно интересовали вопросы художественного перевода. В послевоенные годы я много переводила. Перевожу и сейчас. В 1962 году я закончила "Поэму без героя", которую писала двадцать два года. Прошлой весной, накануне дантовского года, я снова услышала звуки итальянской речи - побывала в Риме и на Сицилии. Весной 1965 года я поехала на родину Шекспира, увидела британское небо и Атлантику, повидалась со старыми друзьями и познакомилась с

новыми, еще раз посетила Париж. Я не переставала писать стихи. Для меня в них - связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных



Сумм Майя прочитала афоризмы про евреев:

"Чем отличаются сионисты от антисемитов?
Сионисты говорят, что среди евреев много
знаменитостей, а антисемиты говорят, что среди
знаменитостей много евреев."
Константин Мелихан



Ефим Ротенштейн прочёл:
СВЕТЛОВСКИЕ ШУТКИ

ХАРАКТЕР

Светлов стойко и мужественно умел переносить невзгоды и почти никогда не жаловался. Он всегда отшучивался и говорил: - Счастье поэта должно быть всеобщим, а несчастье - обязательно конспиративным.

* * *

На светловском юбилее было оглашено письмо отсутствовавшего по причине болезни Вениамина Каверина, в котором он писал: "Я завидую не только таланту Светлова, но и его удивительной скромности. Он, как никто, умеет довольствоваться необходимым". - Мне не надо ничего необходимого, - возразил Светлов, - но я не могу без лишнего.

ВОЗРАСТ

По поводу своей сутулости Светлов часто шутил: - Что такое знак вопроса? Это состарившийся восклицательный.

* * *

Прогуливаясь по морскому пляжу и обозревая распростертые на песке фигуры загорающих пожилых людей, Светлов сказал: - Тела давно минувших дней...

ГПУ-МГБ-КГБ

Во второй половине 20-х годов Светлова вызвали в ГПУ и предложили быть осведомителем, разумеется, под красивым предлогом "спасения революции от врагов". Светлов отказался, сославшись на то, что он тайный алкоголик и не умеет хранить тайны. Из ГПУ он напрямик направился в ресторан "Арагви", где сделал все, чтобы напиться. "С той поры, - говорил Светлов, - мне ничего не оставалось делать, как поддерживать эту репутацию".

* * *

В 1956 году Светлова вызвали в МГБ в связи с посмертным пересмотром дела одного из поэтов.

Следователь спросил: - Знали ли вы этого поэта? Что вы можете о нем сказать? - Знал. Он был хорошим поэтом и настоящим коммунистом. - Как? Ведь он был троцкистом и за это был посажен. - Нет, это я был троцкистом, - сказал Светлов. - А он был настоящим коммунистом. Следователь растерялся, попросил у Светлова пропуск, подписал его и сказал: - Идите, идите...

* * *

После войны, по подсказке КГБ, Светлову не разрешали выезжать за границу, ссылаясь на то, что он пьет и что у него нет "международного опыта". "Там забыли, что я однажды уже был за границей - вместе с Красной Армией дошел до Берлина".

НА ВОЙНЕ

Михаил Светлов не раз вспоминал, как на фронте попал под шквал артиллерийского огня: "Каждый солдат вырывал себе ямочку и спасался. Я бегал между этими ямочками и чувствовал себя, как в

коммунальной квартире, - жить можно, но спастись негде". Поэт воспроизвел также такой диалог: - Это правда, что вы написали "Каховку"? - Правда, товарищ сержант. - Как же вас сюда пускают?!

* * *

На фронте начальник политотдела армии укорял Светлова за то, что тот без спроса начальства оказался на передовой: "Говорят был такой огонь, что нельзя было голову поднять". - "Голову можно было поднять, - ответил Светлов, - но только отдельно от туловища".

О ПОЭТАХ И ПОЭЗИИ

В Союзе писателей обсуждали молодого поэта, злоупотреблявшего спиртным. Поэт по молодости или по глупости оправдывался: - Что ж тут такого? Пушкин пил. И Лермонтов пил. И Бетховен. И Моцарт.

- А что пил Моцарт? - спросил кто-то. И тут же прозвучал голос Михаила Светлова: - А что ему Сальери наливал, то и пил!

* * *

Светлов как-то сказал: - Больше всего боятся смерти отсталые люди. Гениальные же пишут: "Брожу ли я вдоль улиц шумных..."

* * *

Студент Литературного института защищал дипломную работу - читал морские стихи из своей книги. Выступая с критикой этих стихов, Светлов сказал: - От моря можно брать ясность, синеву, грозность... Но зачем брать воду?

О ТЕХ, КТО В ПРЕЗИДИУМЕ

В Центральном Доме литераторов шла конференция по вопросам языка и переводов. За столом сидели писатели Юрий Либединский и Лев Озеров. Светлов,

войдя в зал, тут же прокомментировал: - Шли на конференцию, а попали на "Лебединое озеро".

* * *

Михаил Светлов о поэте, переставшем писать стихи, но занявшем крупную должность: - От него удивительно пахнет президиумом.

* * *

На писательском собрании прорабатывали пьесу, перед этим обруганную в одной центральной газете. Доклад делал критик, известный своим разгромным стилем. Светлов печально заметил:
- Вы знаете, кого напоминает мне ваш докладчик? Это тот сосед, которого зовут, когда надо зарезать курицу.



Александр Красночаров прочёл несколько своих стихотворений.



Светлана Гохфельд прочла несколько стихотворений
нескольких авторов



Шагалова Марина прочла стихотворение Михаила Светлова – наизусть!!!!